ХПОСТРОФ

Александр КУШНИР. Кормильцев. Космос как воспоминание. — М.: РИПОЛ классик, 2017. — 256 с.

ОБРЕТЯ КНИГУ, я стал её читать, едва зайдя в метро. Вскрыл плёнку ещё на эскалаторе. Пожалуй, это детское нетерпение — лучший аргумент за книгу. Я знал, что будет интересно, и не ошибся в своих ожиданиях. Хотя, казалось бы, биография поэта, переводчика, издателя Ильи Кормильцева мне хорошо известна. "Наутилусом" я насытился в отрочестве, за "Ультра. Культурой" следил с самого основания, но далеко не всё котировал. И непосредственно с Кормильцевым регулярно пересекался в 2002—2006 годах. Дважды делал интервью, и каждым был очень доволен. В последний раз общался на юбилейном вечере В.Г. Бондаренко в ЦДЛ в феврале 2006 года. Илья пил водку и заметил, что быстро похудел на 8 килограммов, отказавшись от пива, картошки и хлеба. Увы, видимо, причины этого были уже в другом. Через год он покинул сей подлунный мир. В сентябре 2019-го ему исполнилось бы шестьдесят.

"Как возможно описать ураган? Громадная энергия, резонёрство и при этом дикая манера говорить. Бесконечные словоизвержения, но аргументированные", — хорошо передал колорит Кормильцева соратник по уральскому рок-клубу.

Он мог быть больше и интереснее, чем его же тексты. Но это проблема касается очень многих: порой сам язык накладывает ограничения на максимальное высказывание.

Даже пул скептиков-отрицателей Кормильцева представлен очень яркими людьми. Пустое место в качестве мишени они бы точно не выбрали.

Кормильцев был мастером мрачного слова и едкого комментария, однако за этим стояла не реактивная обида наблюдателя, но, скорее, взгляд антропологического пессимиста. Порой люди такого типа отстраняются от общества, однако Кормильцев выдающимся образом проявлял себя как катализатор и организатор.

Не то чтобы интересно, как Кормильцев интерпретировал бы последние годы, — весьма вероятно, что его позиция была бы совсем не близка. Важно, что это был "актор", игрок. Кормильцев не банализируется, не вписывается в стандартные схемы. И если бы не мучительный уход из жизни, то легко представляю, что от усталой идеи о преподавании на старости лет в небольшом английском университете вскоре не осталось бы и следа, и мы стали бы свидетелями новых трансформаций.

"Космос как воспоминание" — выдающийся труд. Более ста (!) эксклюзивных интервью — с родственниками, сотрудниками и соратниками. Масса информации, богатейший иллюстративный материал. Множество интересных и даже неожиданных историй. Кушнир, без сомнения, человек со своими представлениями и взглядами, славен тем, что не устраивает сеансов "объяснения", не спрямляет, не цензурирует, как, увы, зачастую поступают иные биографы. Поэтому и книги его живы гораздо больше, нежели сезон выхода.

По дизайну книга наверняка намеренно напоминает другое исследование Кушнира "Сергей Курёхин. Безумная механика русского рока". Кормильцев и Курёхин в чём-то похожи — и не только эрудицией и энергетикой. Они сотрудничали с самыми "топовыми группами" советского рока, отчасти легитимируя то движение в глазах иной, более взыскательной аудитории. Оба взаимодействовали с радикальным полюсом российской политики. И Курёхин, и Кормильцев по-своему ставили под сомнение и пытались перепонять реальность.

Сложно обойтись без читательского "потребительства": точно бы не отказался от продолжения этой условной серии, хотя найти таких значительных героев будет непросто.

ЯНКА. (Дягилева, Яна Станиславовна). Выше ноги от земли. — М.: Выргород, 2018. — 176 с.

ОСЕНЬЮ 2017 года имя Янки, одной из главных фигур сибирского андеграунда конца 1980-х годов, неожиданно проявилось в медийном пространстве. Общественность обеспокоилась судьбой домика, в котором некогда жила Дягилева: над одноэтажным деревянным строением в Центральном районе Новосибирска нависла угроза сноса. Возникло обращение к губернатору, которое опубликовала и "Завтра". Список подписантов был велик и разнообразен. Весной прошлого года дом получил статус выявленного объекта культурного наследия. Дальнейшее — неоднозначно: может ли этот дом стать музеем Янки ли, сибирского рока в целом, насколько это уместно именно по отношению к Дягилевой и её взгляду на мир? "Человек настоящий — только когда он совсем один. Когда он хоть с кем-то — он уже играет. Вот когда я болтаю со всеми, курю — разве это я? Я настоящая — только когда одна совсем или когда со сцены песни пою — даже это только как если, знаешь, когда самолётик летит — огоньки мигают, и пунктирная линия получается — от того, что есть на самом деле", — говорила Янка. Эта по-своему знаменитая формула под названием "Почему я не даю интервью" из журнала "Контркультура" наличествует и в новом сборнике стихов, песен и редких публичных высказываний. Произведения Янки расположены в максимально точно установленном порядке сочинения; приведены варианты и разночтения рукописей, публикаций и концертных исполнений.

Сложно что-то сказать особое, нежели: такая книга была нужна, хорошо, что "Выргород" за неё взялся и исполнил с присущим ему эстетичным и основательным подходом.

Андрей СМИРНОВ

Джульетто КЬЕЗА. "Мир на пороге войны", публицистика. Справки по телефону 8 (985) 256-91-24

Георгий СУДОВЦЕВ

ПОИСКИ ТЕПЛА

Памяти неизвестного народного поэта Глеба ГОРБОВСКОГО

МОЖЕТ ЛИ ПОЭТ быть неизвестным, но при этом — ещё и народным? Тем более — в России, где со времён Пушкина поэты не просто пишут стихи или даже читают их вслух, а, согласно изначальному имени своему, посредством живого Слова, его смыслов, ритмов и созвучий, — творят миры, созидают гармонию в этих мирах и между ними? Жизнь Глеба Яковлевича Горбовского (4 октября 1931 года — 26 февраля 2019 года) показывает, что да, и такое бывает… Что автором песенки про "фонарики ночные", с припевом "Сижу на нарах, как король на именинах…", и ставшего чуть ли не "попсой" "Розового слона" может быть один и тот же человек.

Его внешняя жизнь — во всяком случае, до 1953 года — могла бы служить наглядной иллюстрацией к учебнику антисталинизма, будь таковой написан: репрессированный в 1937 году отец (правда, не расстрел и не лагеря — "всего лишь" ссылка), разрушенное войной детство — с неполных 11 лет в одиночку выживал-бродяжил фактически в зоне боевых действий ("Война меня кормила из помойки, пороешься — и что-нибудь найдёшь…"), потом — детская пересыльная тюрьма, "ремеслуха" и исправительная колония, "побег с концами", в армии — двести (!) суток "на губе" за три года стройбата… О степени внутренней свободы "раннего" Глеба Горбовского свидетельствуют не только "Фонарики…", но и миллионы раз перепетые "Ах вы, груди, ах вы, груди! Носят женские вас люди: ведьмы носят, дурочки и комиссар в тужурочке…", "У павильона "Пиво-Воды" лежал довольный человек: он вышел родом из народа, но вышел — и упал на снег…".

Разумеется, всё это не печаталось, да и не могло быть напечатано! — но вовсе не "выходило из народа", а, напротив, "уходило в народ" и оставалось там уже как "народное", без всякого официального авторства и связанных с этим наград-наказаний…

Но нельзя сказать, что Глеб Горбовский был как-то "перпендикулярен" тогдашнему общественному мейнстриму, — он просто не мог поместиться в него целиком, без остатка. Причём, как выяснилось уже позднее, в постсоветский — ещё хуже, чем в советский. Да и в шестидесятые не был "шестидесятником": ни в стадионно-громогласном вознесенско-евтушенковском, ни в "тихом" соколовско-рубцовском изводах. Если и оказывался в каких-то партиях, то разве что в геологических. Там, где минимум условностей и максимум природы.

КАК ПРАВИЛО, все пишущие о творчестве Глеба Яковлевича совсем мало или вообще ничего не говорят о его стихах для детей: мол, они делались им "не всерьёз", исключительно для тиражей и гонораров. Ну, не исключено, что и это принималось в расчёт, как по-другому? Но сводить эту часть творческого наследия Горбовского только к каким-то меркантильным соображениям — более чем странно. Тем более что таких стихов написано им больше сотни, и не один десяток его "детских книжек" выходил в разных издательствах. А "всерьёз" или "не всерьёз" — вопрос, мягко говоря, спорный. Ведь недаром говорят, что первое впечатление — самое верное. Лично для меня, например, таким "первым впечатлением" стал оранжевого цвета, в твёрдом переплёте, со слоном и клоуном на обложке, "детлитовский" сборник "Разные истории" 1972 (почти полвека прошло!) года выпуска. Сразу "пришлись по сердцу" залихватски весёлые строки:

Вот бы мне,
Вот бы мне
Прокатиться на слоне!

Конечно же, ещё бы: ведь до ближайшего зоопарка было — как до сказочного тридевятого царства! Но нельзя сказать, будто эта его книга тогда мне, восьмилетнему, понравилась — скорее, наоборот. В "детских" стихах Глеба Горбовского ощущалось нечто иное, чем в привычном для меня круге чтения — что-то тяжёлое и ещё непонятное, а потому — наверняка "неправильное" и пока не нужное, странное, что можно и нужно "отложить на потом". Но имя-фамилию: тоже странные и "неправильные", — всё-таки запомнил. Конечно, ничего я не знал и не мог знать ни о самом поэте, ни о тех литературных баталиях, в которых он к тому времени уже отказался участвовать, "с концами" сбежав на этот раз прямо из "призывного пункта", хотя ему светили там если не маршальские, как у Иосифа Бродского, то уж генеральские, как у Евгения Рейна, погоны точно. А потому с большим внутренним облегчением прочитал в "Юности" 1973 года пародию за авторством Михаила Владимова на строки поэта Горбовского "Родила меня просто мама, а могла бы родить птица":

Быть я мог бы и просто ламой
Или ламом (мужского пола!),
А могла бы моей мамой
Быть верблюдица —
Факт весёлый!
Был тогда б я
не Глеб Горбовский,
Был бы просто я
Горб Глебовский!

"Горб Глебовский" — вот оно что, можно и так?! Ха-ха-ха, система ценностей снова стала для меня — уже девятилетнего — полностью простой и понятной! Как впоследствии выяснилось — очень зря. И, правда же, странная штука — человеческая память… Вот эти мимолётные эпизоды моего далёкого детства зачем-то преподнесла сейчас "на блюдечке с голубой каёмочкой":

Но за мельканьем беглых дат,
За слоем календарной пыли
Нам не дано предугадать,
Чему свидетели мы были.

Господа, товарищи и граждане поэты! Если можете или даже не можете — всё равно, всегда и везде, любые свои стихи! — пишите для детей, и старайтесь быть как дети. Тогда и слово ваше отзовётся!

ДЕБЮТНАЯ КНИГА Горбовского вышла только в 1960 году — тоненькая, в 16 всего стихотворений добротного, но далёкого от уже достигнутых автором вершин, качества, и выделялась она среди прочего поэтического потока того времени разве что своим названием — "Поиски тепла". Наверное, эти слова можно считать символом всей жизни и творчества поэта. Он как будто всё время стремился, но никак не мог до конца не то чтобы согреться, а даже оттаять: ни в "оттепель", ни позже. И книга его — не мемуаров, а "сомнений и догадок" — тоже "Остывшие следы". В которой автор признаётся в любви к жизни через книгу — в любви, загоревшейся в его сердце с шестилетнего возраста через энциклопедический словарь Павленкова 1907 года издания: "Это на её, "отглагольной" страсти алтарь, приносил я затем многочисленные жертвы: покой, волю, дружбу, семью, а если требовалось — и саму любовь…"

Второй закон термодинамики, сулящий не только смерть каждому человеку, но и тепловую смерть Вселенной — вот какому врагу всю свою жизнь пытался противостоять поэт Глеб Горбовский. И навидался его в самых разных обличьях: голода, холода, трупов военных лет, — с раннего детства. Но не только временно выжил — он сначала прочувствовал, а затем осознал всю трагичность и, простите мне корявый слог, невероятную чудесность самого явления жизни, не говоря уже о жизни человеческой.

Владимир Григорьевич Бондаренко в прекрасной статье "85 лет русского гения", опубликованной газетой "Завтра" 12 октября 2016 года к юбилею Глеба Яковлевича, немало внимания уделил давней, датированной ещё 1962 годом, встрече с тогдашним юбиляром другого, гораздо более известного сегодня поэта: "Николай Рубцов, отнюдь не пуританин и не любитель трезвого образа жизни, посетив как-то питерское "дупло" Глеба Горбовского, написал позже об этом посещении в стихах:

Трущобный двор. Фигура на углу.
Мерещится, что это Достоевский.
И жёлтый свет в окне без занавески
Горит, но не рассеивает мглу.
……..
Куда меня, беднягу, занесло?
Таких картин вы сроду не видали.
Такие сны над вами не витали,
И да минует вас такое зло!
…Поэт, как волк, напьётся натощак,
И неподвижно, словно на портрете,
Всё тяжелей сидит на табурете
И всё молчит, не двигаясь никак…

Очевидно, в жизни Глеба Горбовского было то самое дно бытового распада, где гаснет даже самый крупный талант. По мнению Николая Рубцова, его друга могла ждать только скорая и такая же бессмысленная смерть. Кто же знал, что судьба так перемешает карты, и то, что с грустью предвидел Николай Рубцов, глядя на запойный быт своего питерского друга, ожидает его самого?"

Судьба судьбой, карты картами, но то, что для Рубцова и миллионов наших соотечественников казалось выходом из внутренней бессмысленности тогдашнего бытия, для Горбовского, судя по всему, было лишь входом в неё, тяжелейшей "разведкой боем", рейдом по оперативным тылам противника. Только поэтому не сожрала его пасть пресловутого "зелёного змия" — и это ещё далеко не самая чудовищная пасть в нашем мире.

Как писал сам поэт в "Остывших следах": "Говорить наедине с Богом мы так и не научились. Говорить с человеком, как с Богом, — вот оно, вечно благое и вечно недостижимое желание всех исповедующихся, несмотря на то, что благими намерениями вымощена дорога куда-то там… И потому — не исповедь, а всего лишь пособие для начинающего писателя или вот… лирический роман. Не просто бессюжетный или бесконфликтный, а, так сказать, эмоциональный, роман с неизбежным, невольным враньём, которое и отличает, к примеру, пение человека от пения соловья, мерцание уличных фонарей от мерцания звезд, гениальную "Анну Каренину" от Священного Писания, из которого автор семейного романа взял эпиграфом пять бестелесных слов: "Мне отмщение, и аз воздам"… Оглядываясь теперь в известном, пережитое, словно в огромный пустой коридор с многочисленными закрытыми дверьми и с одной-единственной лампочкой в самом начале этого коридора (свет детства!), спрашиваю себя: так чего же в тебе всё-таки больше — городского или сельского, геометрически-уличного или плавно-географического, сотворённого разумом, то есть сконструированного или природного, почвенного, то есть навеянного, подчерпнутого? И не мешкая хочу ответить: поровну! Примерно так же, как добра и зла. И тут же вспоминаю, что зла в мире, а значит, и во мне, гораздо больше, нежели блага. Просто добро сильнее, отсюда и кажущееся равновесие". В стихотворениях того периода он специально выделяет пятистишия и семистишия — как будто пытается уравновесить традиционной строчный "чёт" поэзии "нечетом".

НЕСМОТРЯ на внутреннюю и неизбывную свою "монадную", если говорить словами великого математика и философа Лейбница, неформатность, с какого-то момента — примерно с 1964 года — Глеб Яковлевич всё-таки находит равновесие с окружающим его миром и не то чтобы приемлет или отвергает его силы и власти, а медленно, но верно "поднимается" над ними и, что самое главное, над самим собой прежним. Не сотворяет и не повергает кумиров, "идолов пещеры, идолов площади, идолов театра и идолов рода", по Фрэнсису Бэкону, а стремится "делать всё должное", как он это "должное" понимает. И оно со "строительством коммунизма" для него оказывается вообще не связано, как выражено во вроде бы "пейзажном", а на деле — программном стихотворении Глеба Горбовского "На Волге", написанном в 1964 году:

Ещё Россия не сказала
Свои последние слова.

То есть не "коммунизм" и не "социализм" для него — является или должен стать последним словом России. Да и будет ли, и нужно ли оно, это последнее слово?

Глеб Горбовский — как бы невзначай, неприметно, мимоходом — создаёт разве что некоторые следующие слова. "С улыбкой умру за Советскую Русь!.." — это строчка из стихотворения 1968 года. Конечно, через 23 года, как и все мы, не умер "за", но изменился, однако сама созданная им формула, "Советская Русь" — осталась на будущее. Да и то сказать — ведь в 1991 году было им написано стихотворение "Очкарик", в котором поэт всё-таки называет себя "погибшим за Русь", — и надо ему верить!

В деревне, где живу, старея,
меня, погибшего за Русь,
все принимают за еврея.
Пошто?! Ответить не берусь.

Ведь ни мацы не ем, ни квасу
не отвергаю, ан — не тот…
Хотя принять за папуаса
резонней… Вот ведь анекдот!

Должно быть, это только внешне
я не еврей и не узбек,
а если взвесить, то, конечно, —
еврей, албанец, финн кромешный,
француз! Очкарик… Человек.

Вот этому человеку и поэту теперь, после его физической смерти, можно и нужно поставить памятник в родном для него Ленинграде, ныне — Санкт-Петербурге. Это, на мой взгляд, будет честно и правильно.

Газетный вариант. Полностью — на сайте zavtra.ru

Михаил КИЛЬДЯШОВ

А ПОТОМУ, ЧТО ВНОВЬ ПОЮТ…

К 100-летию со дня рождения Алексея ФАТЬЯНОВА

РУССКАЯ МЕЧТА неизъяснима, её невозможно постичь рассудком, облечь в понятия, заключить в формулы, измерить "общим аршином". Здесь нужно особое слово, от которого мечта не отстранится, от которого не поблекнет, не рассеется. Такое слово нельзя произнести, его можно только спеть. Оттого все русские мечтатели — сладкопевцы, у них поющее сердце, способное услышать музыку всюду: в плавном движении облаков, в лепете младенца, в вихрях истории, в надрывном стоне бурлака, в безгласной молитве.

Песню не сочиняют, не выдумывают, она изначальна, она в божественном замысле мира, потому сама выбирает певца — уста пламенные и душу родниковую. Поистине тот "всё дал — кто песню дал", кто не спугнул мечту, кто расслышал среди суеты и сквернозвучия спасительное слово, окутанное мелодией.

Небесными очами всмотрелся в ручей русской песни Алексей Фатьянов, поразился его бездонности, испил из живоносного источника: неслучайно слова "пить" и "петь" произрастают из общего корня. Фатьянов возвратил поэзии песенную первородность — когда наитие выше мастерства. Он наполнил песню вечёрками, девичьими хороводами, причитаниями, вновь породнил её с волшебной сказкой: с неувядающими деревами, синими морями, чудесными тропами. Рождённый в краю иконописцев поэт перенёс в песню из святых образов "простоту без пестроты": нужно отрешиться от всего, открыть душу только музыке и слову — и тогда услышишь песню:

Хороши в лугах травы росные,
Хороши в садах вишни рослые,
А как белый цвет станет ягодой,
Я пойду к реке полем-пахотой.

Стихи Фатьянова стали песнями ещё до того, как были положены на музыку, композиторам оставалось лишь записать её в нотные тетради. В этих песнях живёт главная мечта русского народа — мечта о Победе, об одолении беды, тяготы, несправедливости. Об этом грезим мы и в пору великой работы, и в пору кровавой битвы. В лихую годину именно песня торит дорогу мечте, приближает День Победы. Мы победили, потому что мечтали о Победе, а враг просчитывал её. Враг умножал в мире тьму, а мы песней умножали Свет, свидетельствовали о Свете, вытесняли из мира смерть и несли в каждом слове жизнь:

День, неделю иль месяц
Мы врастаем в траншеи?
А над нами, как песня,
Лес шумит, хорошея.

Как становится тихо
У переднего края,
Вдоль окопов гвоздика
Лепестки расправляет.

Фатьянов, не раз видевший "всадника по имени смерть" со свастикой вместо меча, ведал, что такое праведный гнев и называл "святым" страшное слово, которым вооружился советский солдат:

Горела рожь. Пожары закрывали
Сиянье бледных, ослеплённых звёзд.
Мы в эту ночь врага назад прогнали
На двадцать кровью орошённых вёрст.

Не знаю, на каком наречье
Мне рассказать, чтоб видно было всем
Разрушенный мой край.
Обугленные печи.
Труп девушки на скошенном овсе.

От крови чёрным стал платок лиловый.
Рождённая, чтоб расцветать и цвесть,
Она в губах остывших сохранила слово.
Мы поняли, что это слово — месть.

И мы прочли в застывшем этом слове
Призыв святой поруганной любви.
И было это жуткое безмолвье
Страшнее клятвы, данной на крови.

Мы дальше шли. И с каждым нашим шагом
Назад откатывался лютый, злобный враг.
Заря над полем нам казалась флагом.
Рассвет за нами нёс победы нашей флаг.

Мы в эти дни врага нещадно били.
О наших подвигах летела песней весть.
Мы в эти дни в сердцах благословили
Одно-единственное слово — месть.

Но поющее сердце не заглушили чёрная злоба и безудержная ненависть. Своими стихами Фатьянов напоминает заветы праведников о том, что лишь "любовью и единением спасёмся". Песней Фатьянов вписывает своё время в историю, соединяет его с минувшими веками. Песней он влечёт в красноармейский строй былинных богатырей, всю силу пращуров, их правоту, их ратные песни.

К истоку фатьяновских песен не прийти филологическим путём: любое сравнение с предшественниками будет здесь неточным, любые параллели с современниками — спорными. Есть в этих песнях особая безначальность: мы не помним, когда и где впервые услышали их. Мы родились с ними, как с сорокой-белобокой, как с "Аленьким цветочком" Аксакова, как со сказками Пушкина.

"Соловьи, соловьи…", — быть может, пела над колыбелью мама; и тебе, рождённому на исходе двадцатого века, пригрезился вечный русский воин, поле русской брани — то ли Куликово, то ли Бородино, то ли Прохоровка.

"Давно мы дома не были…", — припоминаешь ты, как пели фронтовики за столом в День Победы. Тогда они были крепки, могучи, и тебе казалось, что жить они будут вечно. А теперь ты несёшь их лики в "Бессмертном полку", и в душе звучит "Майскими короткими ночами…". Песни "Когда весна придёт, не знаю…", "Тишина за Рогожской заставою"… Сколько раз ты смотрел эти чёрно-белые фильмы ("Весна на Заречной улице" и "Дом, в котором я живу") и видел в них все цвета радуги, потому что мир сиял чистотой человеческих отношений, надеждой, молодостью и первой любовью.

Ты не заучивал эти песни, но ты знаешь их наизусть, всегда подхватишь их, всегда допоёшь.

Фатьянов не только безначален, но и бесконечен. Он устремлял свои песни в грядущее, верил в новые победы — уже без крови и смертей. Его песни делали мечту явственной, а действительность наполняли и озаряли мечтой:

Где-то тихо-тихо возникает песня.
Одинокий ветер бродит по кустам.
Мимо звёзд далёких
Ходит тонкий месяц
В бездорожье неба,
По глухим местам.
Ни в котором веке человек там не был.
Но мы завоюем эту высоту!
Мы откроем трассу в синем звёздном небе,
Станцию "Юпитер",
Станцию "Сатурн"!

И будущее будет, потому что в нём вновь поют, потому что живут в нём стройная рябина, тальяночка, духовой оркестр, песня соловьиная.

Александр ПРОХАНОВ

ДЕЛЬФИН-БОГОБОРЕЦ

В ПЕТЕРБУРГЕ на улице Марата есть гостиница "Гельвеция". От неё пахнет тиной, на стенах поселились зелёные водоросли, и ползают улитки. В заднем помещении гостиницы есть бассейн, полный воды, и в этом бассейне живёт дельфин. Это дельфин-богоборец. Он отрицает существование Бога и уверяет, что люди произошли от микроорганизмов. Дельфина зовут Александр Глебович Невзоров. Он питается морской рыбой, в основном мурманской треской, которую кидают в бассейн дрессировщики Ольга Журавлёва и Виталий Дымарский.

Раз в неделю по средам они выманивают дельфина из бассейна и ведут его к людям, к иностранным туристам, которые специально приезжают в Россию, чтобы подивиться на дельфина-богоборца. Дрессировщица Ольга Журавлёва ведёт дельфина на шёлковом поводке, мелькая перед его носом своими милыми голыми пяточками. Дрессировщик Дымарский бьёт дельфина хлыстом, приговаривая: "Бога нет. Бога нет", — чтобы дельфин по пути к эстраде случайно не уверовал. Дельфин, возбуждённый голыми пяточками и ударами хлыста, начинает проповедовать. Он говорит, что Бога нет, России нет, писателя Проханова нет. А чтобы никто не мог его опровергнуть, начинает всё вокруг поедать. Поедает иконы, библиотеки, военные казармы, мосты, невские пароходы, поедает гуляющих по Невскому проспекту иностранцев, поедает туристов, которые приехали посмотреть на него в "Гельвецию". Он съел депутата Милонова, съел депутата Поклонскую, съел Беглова, съел Валентину Ивановну Матвиенко. Попробовал съесть Шнура, но подавился, потому что Шнур выставил из своих чресел такое, что оно не пролезало в горло Александра Глебовича Невзорова, и тот был вынужден отхаркать Шнура. Представление кончается трагически, когда дельфин, принимая Виталия Дымарского за рыбу, съедает его и Ольгу Журавлёву, которая так похожа на очаровательную креветку. Когда всё вокруг оказывается съеденным, дельфин начинает съедать самого себя. Он обгладывает себя до костей, прогрызает себе живот и съедает внутренности, которые выпадают из живота, чавкает этими внутренностями, но они вновь вырастают в животе, вываливаются наружу, и Александр Глебович Невзоров съедает свои кишки, печень и прочий ливер.

Судебные приставы Санкт-Петербурга решили привлечь к ответственности Александра Глебовича Невзорова за жестокое обращение с самим собой. В качестве свидетеля они решили вызвать Виталия Дымарского, но тот исчез. А на столе в его кабинете лежала записка: "Я оказался вкуснее, чем думал".

Тогда решили допросить Ольгу Журавлёву. Но у неё были обглоданы пятки, не было двух рук, и ей нечем было жестикулировать. И она махала ушами. Она подтвердила факт существования дельфина-богоборца, но не могла указать место его пребывания. Судя по тому, что в Европе стали исчезать памятники архитектуры, а в Ватикане куда-то исчез собор Святого Петра, Ольга Журавлёва высказала предположение, что Александр Глебович Невзоров переехал в Европу.

Когда Шнура спросили, не знает ли он, где находится Александр Глебович Невзоров, Шнур показал судебным приставам нечто такое — огромное, безобразное, обглоданное со всех сторон, облепленное долларовыми купюрами, что судебные приставы отступились. Последний раз Александра Глебовича Невзорова видели в проливе Скагеррак, где он доедал круизный лайнер с китайскими миллиардерами. Узнав об этом, страны Северной Европы объявили пролив Скагеррак опасным для судоходства.